



Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК

Новый критик славянофильства

«Разочарованный славянофил». Статья князя С. Н. Трубецкого. «Вестник Европы», октябрь

Почти год тому назад, когда умер К. И. Леонтьев, «Вестник Европы», весьма презрительно отозвавшись об этом писателе, обозвал его «ретроградом» и «обскурантом», тем не менее грозился, что рассмотрит подробно его взгляды и покажет всю их несостоятельность¹. Теперь почтенный журнал старается выполнить свою угрозу чужими руками — руками князя Трубецкого.

Это признак времени — признак совершенного оскудения нашего либерализма. Он сам уже ни с чем не может бороться. По самым важным, по самым существенным, по самым основным вопросам он высказывается не сам, а чрез посредство людей совершенно иного и, казалось бы, враждебного либерализму мировоззрения. Так, о славянофильстве и о книге Н. Я. Данилевского «Вестник Европы» высказался устами г. Вл. Соловьева — спиритуалиста и мистика², о воззрениях К. Н. Леонтьева он высказывается устами хотя и покорного, но не весьма понятливого ученика того же Вл. Соловьева — князя С. Н. Трубецкого.

Как бы то ни было, чьими бы то ни было устами, но многозначителен тот факт, что заговорили о К. Н. Леонтьеве в журнале, где систематически «замалчивалась» деятельность этого, по признанию самого оппонента его, князя Трубецкого, выдающегося и оригинального писателя. Значит, «замалчивать», или отделяться возгласами о «ретроградстве» и «обскурантизме» Леонтьева уже нельзя, невыгодно, небезопасно, значит, почувствовалась необходимость считаться с Леонтьевым, следовательно, его значение, его влияние возрастают.

Все это очень хорошо, и критика леонтьевских воззрений очень желательна. Критика очистит эти воззрения ото всей той шелухи, ото всего того временного, что к ним пристало, критика укажет самую сущность этих воззрений, покажет, чего они стоят и какое место занимают в истории русской мысли.

Но дело в том, что у князя Трубецкого вовсе нет критики. Он вовсе не хочет раскрыть сущность и смысл воззрений Леонтьева, что одно уже показало бы их истинную ценность, их истинное значение, — он просто желает дискредитировать эти воззрения в глазах читающей толпы посредством применения к ним разных порицательных слов, выбранных из лексикона либеральных фельетонистов. Для достижения этой цели он, «философ», унижается до жаргона уличных листков, называя Леонтьева проповедником «мракобесия», а каких-то не названных им писателей *«перекувырнувшимися(?) террористами»*. Скажет, что это всего только «слог» и что я придираюсь к мелочам. Вульгарные слова, вульгарные обороты речи свидетельствуют о вульгарности в самых мыслях писателя, их употребляющего.

Итак, князь Трубецкой желает дискредитировать Леонтьева, а с ним и все славянофильство. О Леонтьеве нельзя говорить вне связи его со славянофильством, на которую он сам указывает — вне связи его с Н. Я. Данилевским. Его главное сочинение, «Византизм и славянство», выросло именно из тех основ, которые были заложены первыми славянофилами и укреплены Н. Я. Данилевским, создавшим теорию «культурно-исторических типов». Сам Леонтьев ссылается на Данилевского, считает себя его учеником и продолжателем; между тем от Данилевского кн. Трубецкой отделяется каким-то странным острословием, в котором, однако, нет никакого остроумия, и даже никакого смысла. «Данилевский, — пишет он, — этот славянофил в зоологии и зоолог в славянофильстве».

Что должна выражать собой эта фраза, какой в ней смысл, если она не есть только плод московского клубного острословия и велеречия. Почему Данилевский «славянофил в зоологии»? Потому что он, славянофил по убеждениям, дал полезнейшие исследования по рыбоводству, изыскивал меры борьбы с филоксерой³, наконец, написал превосходный разбор сочинений Дарвина? Почему он «зоолог в славянофильстве»? Еще менее понятно. К чему это острословие? Для того, чтобы дать готовую формулу разным глупцам, которые бессмысленно станут повторять, что Данилевский был «славянофил в зоологии и зоолог в славянофильстве». Князь Трубецкой хотел посмеяться, — но над чем же? Над тем, что Данилевский был славянофил? Или

над тем, что он писал сочинению по естествоведению? Что же тут смешного? Какой тут повод к острословию? Наконец, возможно ли отделяться от такого явления, как деятельность Данилевского, одним острословием? А именно только этим князь Трубецкой и отделяется от Данилевского. К своему острословию он лишь прибавляет, что «как Данилевский, Леонтьев, считающий себя его учеником и последователем, столь же чужд настоящего исторического образования и еще более философского понимания истории». В другом месте он замечает, что Леонтьев был «совершенный дилетант по своему историческому образованию».

Но ведь мало это сказать — надо еще доказать. Князь Трубецкой даже не пытается это сделать — он ограничивается голословным утверждением, ничем его не подкрепляя. Когда специалисты по естествознанию нападали на Данилевского, они, голословно утверждая, что автор «Дарвинизма» не имеет естественнонаучного образования, в доказательство приводили наивный довод: он не был ни магистром, ни доктором естественных наук, говорил одни. Неужели князь Трубецкой подразумевает тот же довод? Неужели дилетантизм Данилевского и Леонтьева в истории и отсутствие в них философского понимания истории он станет доказывать только тем, что ни тот ни другой не были докторами истории и философии? Хочется думать, что князь Трубецкой не подразумевал подобных наивных и пошлых аргументов и не способен прибегнуть к ним; но если уже прибегать к аргументам *ad hominem*, то можно спросить, отчего же это, например, К. Н. Бестужев-Рюмин, конечно, уже не дилетант в истории, с таким восторгом отнесся к работе Данилевского, указывал на нее как на явление исключительное, как на работу, которая составит целую эпоху в философии истории? Отчего точно так же покойный Бодянский с большим сочувствием отнесся к «Византизму и славянству» Леонтьева, настоял, чтоб эта работа была напечатана в «Чтениях Обществ истории и древностей»?⁴ Если уж говорить об авторитетах, то, надеюсь, мнения Бестужева-Рюмина и Бодянского во всяком случае авторитетнее мнений разных скороспелых философов и историков...

II

Замечательно, что князь Трубецкой, утверждая, будто Леонтьев «был чужд философского понимания истории», и ничем не доказывая своего утверждения, с большою наивностью выска-

зывает мнение, доказывающее совершенно противное. Так, он пишет, что Леонтьев, сходясь со славянофилами «в безусловном признании консервативных устоев России, понимал их значительно иначе, *оценив с большою проицательностью* “византийский” характер этих начал».

Одна эта, признаваемая князем Трубецким, «большая проицательность» Леонтьева в вопросе такой сложности глубины может свидетельствовать, что уже не так же он был «чужд философского понимания истории», как думает кн. Трубецкой.

Все бы это ничего, и ошибка в фальшь не ставится, но неприятно было встретить в статье князя Трубецкого уже и настоящую «фальшь».

На первой же странице своей статьи князь Трубецкой, обзвав Леонтьева проповедником «мракобесия», замечает, что, по своей страсти к парадоксу, по цинической откровенности своей проповеди, Леонтьев «не совсем удобен для своих единомышленников».

О «мракобесии» я уже говорил. Это дурного тона выражение — и только, в котором к тому же нет никакого смысла. Но вот уже не дурного тона выражение, а тяжкое обвинение, заключающееся в словах: «по цинической откровенности своей проповеди». Это прямое обвинение в самой глубокой безнравственности, в полном нравственном извращении, — тягчайшее обвинение, какое только можно взвести на человека и писателя. В самом деле, что такое «циническая откровенность»? Кто такой цинически откровенный человек, цинически откровенный писатель? Цинически откровенный человек — это такой человек, который, совершая явно безнравственные действия, не только не старается скрыть их, но, напротив, выставляет их на общее воззрение, как бы гордится ими. Цинически откровенный писатель — это такой писатель, который, высказывая явно безнравственные мысли, не только не старается их затушевать, придать им вид благородства и принципиальности, а, напротив, именно высказывает их как мысли безнравственные и гордится этим: высказывает их искренно, с жаром, как свое убеждение. Где же у Леонтьева такая «циническая откровенность», какие примеры ее приводит князь Трубецкой? А вот какие. Леонтьев сомневался в пользе грамотности для народа; Леонтьев желал более стеснительных форм жизни; Леонтьев не признавал европейской культуры; Леонтьев думал, что европейские понятия о «братстве, равенстве, свободе» суть понятия ложные, вредные; Леонтьев проповедовал «реакцию»: он отрицал «всю европейскую цивилизацию», Леонтьев не верил в прогресс, считал де-

мократическое движение в Европе пошлостью, а отражение его у нас — пошлостью в квадрате, — вот в чем заключается «циническая откровенность» его, вот чем наполнены «самые отвратительные страницы его произведений», как в другом месте выражается князь Трубецкой.

«О, коротенькие!»

Ведь они искренно убеждены, что отрицать все это значит отрицать справедливость, милосердие, лучшие человеческие чувства, христианские начала жизни, правду Божию и правду человеческую, — и вот, вследствие такого печального и наивного недоразумения, они называют проповедь Леонтьева «цинически откровенною».

Да ведь Леонтьев думал, что в европейской проповеди братства нет никакого «братства», что тамошнее равенство является только равенством всеобщей пошлости, что тамошняя свобода есть вовсе не истинная свобода, человеческая и достойная человека, а всего только разнузданность чувства и мысли. Все это надо было опровергнуть, но и тогда нельзя было бы говорить о «цинической откровенности», и можно было бы сказать лишь об ошибке. Но князь Трубецкой даже не пытается опровергать Леонтьева, вникнуть в сущность его мыслей: он применяет к его воззрениям самый простой прием. Он сличает эти воззрения с либеральными катехизисами и, находя несогласие, объявляет их «цинично-откровенными». Какая же это критика?

Но все это, может быть, еще только наивность, — а вот уж и фальшь.

Излагая воззрения Леонтьева, князь Трубецкой пишет: «Европа (по мнению Леонтьева), “гниет” сравнительно с недавнего времени — собственно с конца прошлого века. И Россия противопоставляется этой гнилой либеральной Европе лишь как почитательница консервативного византизма. Как громадная консервативная сила, как колоссальный тормоз, она может сыграть мировую роль, приостановив на время течение европейского прогресса, “подморозив” ее полусгнивший организм. Для этого ей нужно блюсти себя от западного просвещения и от грамотности, хранить свое варварство, свою “спасительную грубость”».

На основании этого изложения князь Трубецкой обвиняет Леонтьева в апофеозе «варварства и «грубости». И если поверить его изложению, то действительно окажется так. России предоставляется роль какой-то страшной, огромной, но совершенно бессмысленной и механической силы. Однако в действительности Леонтьев ничего подобного не говорил. Именно на той

самой странице второго тома (с. 9), на которую ссылается князь Трубецкой, в подтверждение того, что Леонтьев был «против грамотности» и за «варварство», мы читаем следующее:

«В России еще много безграмотных людей; в России еще много того, что зовут “варварством”. И *это наше счастье, а не горе*. Не ужасайтесь, прошу вас; я хочу только сказать, что наш безграмотный народ более чем мы хранитель народной физиономии, *без которой не может создаться своеобразная цивилизация*. Я не хочу сказать, что народ наш совершенно не надо учить грамоте, что его не надо просвещать: скажу только, что наше счастье, что мы находимся im Werden»*.

И далее на той же 9-й странице:

«Не обращаясь вспять, но упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас принять разумно, без торопливости деревенского “parvenu”**, принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде у европейцев, мы можем, если пойдем и сами себя, и других, не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, на которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи, все великие нации прошедшего».

«Надо, — пишет Леонтьев в той же статье “Книжность и грамотность”, — чтоб образованная часть русского народа (так называемое общество) приступила бы к просвещению необразованной части его только когда она сама (то есть образованная часть) будет зреее».

Для чего же это надо?

Для того, отвечает Леонтьев, «чтобы нам не испортить эту роскошную почву (то есть народ), прикасаясь к которой мы сами всякий раз чувствуем в себе новые силы».

Вот еще цитата из той же статьи:

«Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себя так, как перерабатывает пчела сок цветов в несуществующий вне тела ее воск».

Эти мысли развиваются во всей статье «Книжность и грамотность».

Походит ли они на те мысли, которые приписывает Леонтьеву князь Трубецкой? Похоже ли все это на апофеоз «варварства», «грубой силы» и «спасительной грубости»? Однако я не могу не допустить, чтобы князь Трубецкой не умел понимать то, что читает... Зачем же он извратил мысли Леонтьева? Надо

* В становлении (нем.). — Ред.

** Выскочка (фр.). — Ред.

было не извращать их, а возражать на них, если князь Трубецкой имеет что возразить. Новой Европе, «с ее эгалитарным прогрессом, буржуазным конституционализмом, с ее мещанским идеалом и безбожными анархическими тенденциями», Леонтьев хотел противопоставить не бессмысленную силу, как утверждает князь Трубецкой, а ту нравственную мощь, которую он прозревал и чувствовал в нашем народе. Он хотел, чтоб эта нравственная сила развилась правильно, чтоб ее не отравляли европейским ядом. Вот его мысль — против нее и надо было возражать, а не отделяться восклицаниями о «варварстве» и «обскурантизме».

Но пойдем дальше. Указывая на постоянную мысль Леонтьева о нашем народном своеобразии, князь Трубецкой спрашивает: «В чем же состоит это народное своеобразие, которое мы должны оберегать столь ревниво?» — «Леонтьев, — отвечает он, — указывает несколько “любопытных образцов” его, которые он признает особенно “драгоценными и трогательными”. Первый образец — дело изувера-раскольника Куртина, который зверски зарезал родного сына в жертву Спасу и потом мори́л себя голодом в остроге. Второй образец — дело казака Кувайцева, по совету ворожеи осквернившего могилы своей любовницы, чтоб избавиться от тоски» и т. д.

Так пишет князь Трубецкой. В его изложении можно подумывать, будто Леонтьев всю эту уголовщину совершенно одобряет и даже превозносит. Но дело вовсе не в том. В той же своей статье «Книжность и грамотность» Леонтьев, говоря о новых судах, указывая, что они «вовсе не своеобразны» и «заимствованы целиком», тем не менее видит пользу и в них. «Но, — замечает он, — в судах являются люди всех сословий и стран нашей великой отчизны, всякого воспитания; в них рассматриваются и судятся всевозможные страсти, преступления, суеверия, и всякий согласится, что не всякое преступление низко и что многие суеверия трогательны и драгоценны для народа. Образованный класс наш в судах изучает быт и страсти народа нашего. Он и здесь учится понимать родное, хотя бы в грустных его проявлениях. Вот любопытные образцы, взятые из газет».

Затем рассказаны дела Куртина и Кувайцева⁵.

Есть ли тут что-нибудь подобное тому, что князь Трубецкой приписывает Леонтьеву? Можно ли сказать, как то делает князь Трубецкой, что «своеобразие» народа русского, на котором настаивал Леонтьев, состоит главным образом, по мнению этого описателя, в суевериях и преступлениях? Возможно ли сделать такой вывод из слов Леонтьева? Какая же это критика?

Это всего только ребяческое искажение, или ребяческое непонимание чужих слов и мыслей — вот и все.

Ознакомив читателей с критическими приемами князя Трубецкого, в следующей статье мы перейдем к его критике воззрений Леонтьева на национальность, на религию вообще и на православие — в частности.

III

Почему Леонтьев — «разочарованный славянофил»? «Потому, — отвечает Трубецкой, — что первые славянофилы верили во всемирное призвание России, а Леонтьев не верит в него, или сомневается в нем, потому еще что первые славянофилы имели некоторые “гуманитарные” и “прогрессивные» тенденции», а Леонтьев их не имеет».

Так поставлено дело у автора статьи «Разочарованный славянофил».

Очевидно, что такая постановка дела есть плод недоразумения, — хотим думать, что только недоразумения, — и неясного понимания самой сущности так называемых первых славянофилов. С другой же стороны, недоразумение есть плод неясного понимания и взглядов Леонтьева.

Князь Трубецкой, оставляя в стороне самую сущность идей Леонтьева, берет иные его парадоксальные выражения, иные его резкости, каких у него встречается много, — и на основании этого-то материала строит свои выводы и умозаключения. Необходимо разобраться в этой путанице, чтобы понять, в чем дело.

Князь Трубецкой, между прочим, ссылается на статью г. Виноградова о славянофилах, напечатанную, если не ошибаюсь, в прошлом году в «Вопросах философии и психологии»⁶. Он говорит, что в этой статье прекрасно выяснена сущность старого славянофильства. Я помню эту статью, мне приходилось говорить о ней в печати⁷. Главная мысль ее заключается в том, что славянофильство возникло благодаря западным влияниям, и вот почему и в нем самом мало оригинального. Эта мысль не новая, ее высказывали многие, и в последнее время повторил г. Вл. Соловьев. Но удивительно, как эта мысль может держаться так долго, повторяясь из года в год: до того очевидна ее ложность. Разовью здесь подробнее некоторые мысли, которые мне уже приходилось высказать по поводу статьи г. Виноградова.

Если смотреть с точки зрения г. Виноградова, разделяемой князем Трубецким, то неизбежно придется сделать вывод, что, например, и Пушкин, и Гоголь не оригинальны, не заключают в себе ничего самобытного, потому что и они появились только благодаря воздействиям европейской культуры. На поверхностный взгляд это кажется очень ясным. Не насади у нас Петр европейскую культуру, не было бы Пушкина и Гоголя, следовательно, они — плод этой культуры, плоть от плоти и кость от костей ее. У нас так многие и рассуждают, но в этом рассуждении заключается коренная ошибка. Если б Россия была всего только дичок, к которому привили-де европейскую культуру, то этот дичок, без сомнения, дал бы те же самые плоды, которые растут на дереве, от которого взята прививка. Между тем в действительности мы видим совсем иное. Пушкин и Гоголь, по миросозерцанию, по духу, который проникает их поэзию, совершенно оригинальны, ничего подобного им в Европе никогда не было, они по самому *типу* отличаются от всего европейского. Это признают все, это заметили и в самой Европе. Там именно так смотрят даже не на Пушкина и Гоголя, а на их продолжателей и учеников, Л. Толстого и Достоевского, произведения которых явились для Европы как бы новым откровением. Очевидно, мы имеем дело не с дичком, к которому привили европейскую культуру; очевидно, эта культура сыграла здесь иную роль. Какую же?

Лом, пробивающий скалу, из которой брызнул источник живой воды, орошающий поля и нивы, *не есть причина источника*. Вот таким-то ломом по отношению к нам и была европейская культура. Она прорубила кору древнерусской замкнутости и таким образом дала возможность миросозерцанию русского народа, его духу, обнаружиться во всем его многообразии. Пушкин и Гоголь созданы не европейской культурой, а освобожденным от замкнутости духом русского народа; им же создано и славянофильство. Наше же европейничанье, наша общеевропейская общественность были только сопутствующим явлением, были лишь скороспелым плодом, происшедшим от нашего соприкосновения с Европой, были лишь выражением бессилия посредственных умов и дарований произвести что-нибудь свое, самостоятельное, еще на почве нераспаханной и неудобренной. Эти посредственности являлись всего только тепличными растениями, выгнанными среди искусственной атмосферы заимствованной образованности. Но сильные, глубокие, гениальные натуры крепили и вырастали на свежем воздухе своего родного быта, как выросли и окрепли навек Пушкин и Гоголь.

Славянофилы лишь осмыслили тот процесс, который совершался во всех наших выдающихся людях, они указали, что у нас есть то, из чего должна развиться самостоятельная культура, они указали, на *православие как на наше особое культурное начало*. В этом и их безмерная заслуга, в этом и сущность их учения. Но в первых славянофилах заметны следы западно-европейских влияний, слишком сильных в то время, чтобы можно было от них уберечься. Отсюда и противоречия между основной их идеей и некоторыми высказанными ими взглядами. Но это вовсе не те противоречия, о которых говорит князь Трубецкой, когда пишет:

«Поэтому в мечтаниях славянофилов заключалась некоторая двойственность их учения: были прогрессивные, высокогуманные, универсалистические тенденции и консервативный, ретроградный национализм. Идеал славянофилов — вселенская, православная культура будущего, обновляющая мир и в то же время — допетровская Русь в ее своеобразном костюме, в ее быте, верованиях, в ее отчуждении от Европы. Культурные начала обособляли допетровскую Русь от Европы, даже от западных славян, и потому эти же самые культурные начала должны были послужить основанием для новой всеславянской и всемирной культуры.

Отсюда естественно вытекали многие противоречия и несообразности, которые не замедлили выступить наружу, — продолжает князь Трубецкой, — противоречие между универсализмом и национализмом, между прогрессивными, гуманитарно-либеральными тенденциями новой всеславянской культуры и консервативным староверством московской Руси».

IV

Наивность в указании славянофильских «противоречий» доходит у князя Трубецкого до того, что он даже допетровский «своеобразный костюм» ставит на счет славянофилам и видит в этом костюме противоречие «вселенской, православной культуре будущего». Не менее наивно замечание о том, что если «культурные начала» обособили допетровскую Русь от Европы, то как же все эти самые начала могут послужить основанием для новой, всеславянской и всемирной культуры. Тут нет никакого противоречия. Старые славянофилы думали, что наши культурные начала, развившись до высокой степени именно в моральной и умственной борьбе с европейской культурой, со-

здадут новую культуру, идущую на смену европейской. С этой мыслью можно спорить, можно находить ее ошибочной, но в ней нет противоречия, на которое указывает князь Трубецкой.

Впрочем, это мелочи и частности, я и упомянул о них мимоходом. Главное же вот в чем.

Основное противоречие, которое существовало в старом славянофильстве, заключалось именно в противоречии между «прогрессивными, гуманными, универсалистическими тенденциями», которые действительно были в старом славянофильстве, и тою православною идеей, указание на которую как на наше особое культурное начало составляло самую сущность славянофильства. С точки зрения этой православной идеи надо было отвергнуть европейское понятие о гуманности, которым там, в Европе, подменили понятие о христианской любви, надо было отвергнуть европейское понятие о прогрессе, которым там подменили идею о раскрытии божественной истины в истории человечества, наконец, надо было отвергнуть «универсалистическую тенденцию», которая в европейском смысле в конце концов должна была привести просто к космополитизму, ко всеобщему механистическому уравнению, или к католической теократии.

Первые славянофилы не сделали этого: *отчасти* они принимали все эти европейские понятия, как бы не предвидя окончательных выводов, которые из них придется сделать. Однако у первых славянофилов, у Киреевского, К. Аксакова, Хомякова, Ю. Самарина, это противоречие можно заметить лишь в зародыше, лишь в неясности их мыслей на иных пунктах, лишь в колеблющемся отношении их в иных вопросах. С полною ясностью это противоречие сказалось лишь в литературной деятельности последнего, и менее всего самостоятельного, старого славянофила И. С. Аксакова...

От этих-то противоречий и очистили славянофильство Н. Я. Данилевский и его ученик К. Н. Леонтьев. В этом их заслуга, — и вот где их место в развитии русской самобытной мысли.

Н. Я. Данилевский совершенно уничтожил идею универсализма своею теорией культурно-исторических типов. Он доказал, что если России суждено сыграть всемирную роль, то она может сыграть ее только развив свою национальность до высокой степени совершенства. Он посмотрел на все европейские идеи уже с точки зрения православия, чего еще не было *вполне* у старых славянофилов. Эту же работу продолжал Леонтьев. Он твердо и отчетливо указал, что православная идея, еще не со-

всем определенная у первых славянофилов, заключается в идее *Церкви*. Церковный взгляд — это и есть православный взгляд. С этой точки зрения, то есть с церковной, Леонтьев рассматривает и Россию, и Европу. А идеал этой Церкви, как совершенно правильно, но не одобрительно замечает князь Трубецкой, «не в развитии земной культуры, не в мире вообще». Эта Церковь, прибавляет, князь Трубецкой, «по выражению Леонтьева, не верит в гуманитарный прогресс, не верит в торжество человеческой культуры».

Смирения пред этою-то Церковью требовал Леонтьев.

В чем же, в таком случае, разочаровался Леонтьев? Он разочаровался в идее европейского, как он выражался, эгалитарного прогресса, он разочаровался в европейском демократическом движении, он разочаровался, наконец, в мечтаниях о будущем, уже окончательном, устройстве человечества, которое приведет к общему благополучию, разочаровался и в демократических, и в теократических мечтах о таком устройстве, — но он не разочаровался в Церкви, и вот почему назвать его «разочарованным славянофилом» можно лишь или по странному недоразумению, или вследствие совершенного и безнадежного непонимания как сущности славянофильства, так и сущности воззрений Леонтьева.

В деятельности Данилевского, Леонтьева славянофильство развивалось совершенно правильно: сущность славянофильской идеи все более уяснялась, а все ложное, все временное, вся шелуха более и более отпадали. И вот дело наконец выяснилось. Нет уже ни славянофильства, ни западничества, которые когда-то противопоставлялись друг другу, есть только Православие как великая национальная идея — и идеи ему противоположные, будь то идея демократического прогресса, или идея теократическая. В этом смысле можно сказать, что славянофильство умерло, сделав свое дело, поставив вопрос ясно и определенно, и на место этого славянофильства встало само Православие, с которым борются и будут бороться все неправославные идеи, в чем бы они ни выражались: в нигилизме ли, в религиозном ли сектантстве, в идее ли всемирной теократии.

Совершенно ясные факты подтверждают все сказанное. Мы видим в нашей современности, что представители самых разнообразных идей, чуть только не вчера враждовавшие между собой, сегодня подают друг другу руку во имя борьбы с общим врагом — с Православием.

V

Таким образом, Леонтьева можно назвать не «разочарованным славянофилом», а, если хотите, последним славянофилом. Как последний славянофил, он и указал на одну из коренных ошибок славянофильства, которое не совсем ясно понимало связь национализма с Православием и иногда настаивало на чистом национализме. Леонтьев ясно указал различие между национализмом как принципом культурным и национальностью как принципом политическим. Национальность как принцип культурный есть только реальный материал для воплощения идеи. Таким материалом и послужила русская национальность для воплощения идеи Православия. Национальность как принцип политический, без сомнения, есть одно из орудий демократического прогресса, как говорил Леонтьев, потому что этот принцип явился прямым выводом из идеи о народовластии, и, наоборот, непременно приводит к этой идее в своем развитии. Таким образом, и здесь у Леонтьева нет никакого противоречия, как думает князь Трубецкой. Леонтьев отстаивал национальность как культурный принцип, национальность как реальный материал для воплощения идеи, и был против политического принципа национальности, справедливо видя в этом принципе лишь орудие демократического прогресса.

Князя Трубецкого очень затрудняет вопрос, как возможно примирить идею национализма со вселенским значением и со вселенским назначением Церкви, которое признавал и Леонтьев. Не знаю, как можно примирить идею национализма со вселенским значением и со вселенским назначением церкви Римской, как она их понимает, но с этим значением и назначением Церкви Православной идея национализма культурного примиряется сама собою. Это ясно из самого православного понятия о Церкви. Православная Церковь, не стремящаяся к механическому объединению всего мира, как церковь Римская, а стремящаяся лишь к духовному объединению, нисколько не противоречит идее национализма культурного. Православие только светит и греет как солнце, и под его благотворными лучами все национальное будет расти, развиваться и созревать правильно и прекрасно. Правда народная найдет высшую проверку в правде христианской, и все, что есть в народной неправильного и ненормального, отпадет само собою благодаря этой проверке.

Идея национальности культурной не противна идее Церкви, но политический принцип национальности противен этой идее, и вот почему его отрицал Леонтьев.

Остановимся еще на одном месте статьи князя Трубецкого. Изложив взгляды Леонтьева на современное состояние Европы, которая, по мнению этого писателя, быстро идет к космополитизму и анархизму, князь Трубецкой замечает:

«Многие статьи Леонтьева написаны с неподдельным страхом, ненавистью и скорбью. Несравненно более пронизательный, чем многие из его единомышленников, он сознает чрезвычайно живо, что *все* европейское человечество вступает в самый сильный, решительный кризис, какой оно переживало. Причины этого кризиса для него не ясны, как и его конец. Но он сознает его неизбежным, неотвратимым. Он ненавидит равенство, боится свободы, не верит в братство; но он видит, что весь провиденциальный ход истории ведет человечество к какой-то новой, сверхнародной форме политической жизни, к какому-то универсальному единству.

И он имеет мужество, — прибавляет князь Трубецкой, — проповедовать *реакцию*».

За это-то мужество автор статьи «Разочарованный славянофил» и упрекает Леонтьева. Ведь это «провиденциальный ход истории» — как же ему противиться? Выходит так, как будто Леонтьев противился чуть только не действию самого Провидения. Князь Трубецкой упрекает Леонтьева за то, что он не предался искреннему служению «универсализму, вселенскому единству, всемирному братству». Князь Трубецкой упускает из виду только одно. Конечно, Леонтьев считал все совершающееся в Европе результатом провиденциального хода истории, но в этом совершающемся в Европе он видел как бы «Божие поущение». «Божиим поущением» объяснял он возможность того нравственного извращения, вследствие которого в Европе идею равенства во Христе заменили идеей уравнивания всех во всеобщей мещанской пошлости, христианскую свободу, свободу духовную, свободу от лжи и греха, подменили понятием о разнузданности мысли и чувства, идею братства во Христе заменили понятием такого братства, во имя которого, по великолепному выражению Достоевского, вопиют: «Будь мне братом, или я тебя убью!»

И неужели же со всем этим не надо и нельзя бороться, потому что все это есть результат «провиденциального хода истории»? Если так, то придется сказать, что России не надо было бороться с татарами, так как монгольское иго тоже было результатом провиденциального хода истории.

И то, что Леонтьев проповедовал борьбу, отчаиваясь даже в победе, — в чем князь Трубецкой видит «трагикомизм» его по-

ложения, — в еще более привлекательном свете показывает его нравственную личность. Биться за великое и святое, но погибшее здесь, на земле, дело, биться до конца, без поддержки, без участия, среди насмешек и издевательств, среди равнодушных или малодушных, это — высшее благородство, на которое только способен человек...

«Но, — говорит князь Трубецкой, — Леонтьев не понял, в чем дело».

Дело, видите, в универсализме, во вселенской идее, во всемирном братстве, — словом, в теократии...

И охота же, право, повторять чужие зады! Вл. С. Соловьев повторил Достоевского «с украшениями в своем вкусе», князь Трубецкой повторяет Соловьева уже рабски, с видом бойкого ученика, который, однако, плохо понял урок. Ведь видите, какая тут идея: все это европейское движение, само по себе болезненное, а во многом гнусное и грязное, приведет к общему благополучию в лоне теократии, и потому надо не противодействовать ему, а содействовать.

Действительно, так просто, что даже и думать не о чем. «Содействуй», плыви по течению, а в конце концов изо всего этого уже непременно что-нибудь да выйдет и даже не что-нибудь, а именно всеспасающая теократия.

И вот с этой-то упрощенной точки зрения критикуют такое сложное и оригинальное явление, как литературная деятельность Леонтьева.

